

*Лит. газета. — 1995. — 25 сев. — с. 3.*

На днях вышло новое издание "Блокадной книги". Еще когда жив был Алесь Адамович, мы решили восстановить главы, которые выбросила цензура. И вот, наконец, спустя три года книга передо мной почти в том самом варианте, за который мы когда-то воевали с цензорами. А радости почему-то нет. То ли потому, что уже нет Алесь Адамовича, то ли потому, что Ленинградская блокада — мера народных страданий — не стала историей, а смешалась ныне с новыми несчастьями, муками сотен тысяч беженцев; горящие дома, обстрелы, бегущие женщины с детьми — никогда не думал, что опять предстанет лик этих улиц, так напоминающих ту войну...

Кажется, это было в 1976 году. Приехал в Ленинград Алесь Адамович, чтобы уговорить меня писать "Блокадную книгу". Он был на волне успеха, только что вышла книга, написанная им вместе с Янко Брылем и Владимиром Колесником "Я из огненной деревни...". По примеру этой книги он хотел записать рассказы ленинградских блокадников. Мы с ним были едва знакомы. Где-то я его видел, на каких-то писательских встречах, что-то мы говорили. Правда, прочитав его "Хатынскую повесть", я написал о ней рецензию в "Новом мире". Редкий для меня случай, рецензия не мой жанр, но повесть меня взволновала, в ней были беспощадность, честность и то особое видение войны, которое может быть только у участника невыдуманных событий, к тому же художника.

Писать книгу про блокаду я отказался, тема была исхоженной, какая-то замыленно-плоская. Ну, голодали, ну, умирали, трупы на сапochках, вода из проруби. Стук метронома. 125 граммов хлеба — набор блокадных клше к тому времени достаточно приелся. Герои у станков, обстрелы и бомбежки, неслыханный подвиг ленинградцев...

Блокада для меня была явь, несколько раз я бывал в городе в 1941 — 1942 годах, приходил пешком с фронта, а в 1942 году наш батальон стоял на Охте, по сути, в городе, блокадная жизнь билась в ворота нашей части. Про эту блокаду никто не писал, и я не собирался. Я вообще не хотел про войну. После повести "Наш комбат" мне отбили охоту заниматься военной темой.

Адамович упрашивал. Я предлагал ему других соавторов. Познакомил его с литератором Дмитрием Хренковым, с журналистом Борисом Фельдом. Алесь был с ними мил и продолжал вербовать меня. Он доказывал, что дело это не журналистское, а писательское. Очевидно, предыдущая работа привела его к этому убеждению, между прочим, весьма лобопитному. Мы потом не раз возвращались с ним к осмыслению жанра документальной прозы. Документальность близка к журналистике, к историкам, но где проза, где ее место, какое оно? Соединение это требует писателя-прозаика, оно, оказывается, энергично отторгает и журналиста, и историка. Проза — это цемент, который позволяет не просто складывать кирпичные стенки, а создавать архитектуру.

Однажды он уговорил меня поехать к своей землячке из Белоруссии, блокаднице. Взять с собой магнитофон. Знакомая его не сразу согласилась вспомнить перенжитое. Алесь, однако, сумел ее зацепить вопросами, и вскоре она разошлась. Возможно, у них была какая-то предварительная договоренность. Он был вообще не так бесхитростен, как казалось. И со мной, и с ней он вел себя как хороший психолог. На меня, например, произвела впечатление свежесть ее рассказа, насыщенного бытовыми подробностями блокадной — оказывается, неизвестной мне — жизни. Молодая девушка, влюбленная, ее жених на Ленинградском фронте, начинается голодуха, она ходит к нему в часть,

он ходит к ней домой, что-то происходит с ним и что-то с ней. Это была блокада, которой я не знал. После белоруски произошла встреча с другими блокадниками. Передо мной открывался глубокий пласт жизни, неизвестной, исполненной не подвигами, а страданиями и преодолениями этих страданий, страхов, потерь. Я все еще сомневался. Я никогда не имел соавтора: как это писать вдвоем? Многое было против совместной работы. И к тому же я сидел над романом. Почему же я согласился? Пожалуй, как я потом понял, мне понравился Адамович, решло его обаяние, которое он щедро расточал, привлекая меня. Короче говоря, ему удалось обольстить меня своим одушевлением, восторгом перед Ленинградом и ленинградцами.

Он тут же ринулся в работу, увлекая

всего сразу обобщалось, никто не подсчитывал затраченного труда, кто больше, кто меньше, да и затраты денежные, на машинисток, на кассеты, тоже не разделялись. Он относился к тем людям, с которыми хочется состязаться в щедрости.

Материал накапливался, и пора было начинать сборку книги. Создавать не монтаж, а сюжет, найти драматургию. Вот тут-то начались споры и ругань. Поскольку ни у кого идеи не было, поскольку мы были непримиримы и вымещали свое безмыслие друг на друга. Нужна была философия книги, то есть если по Ницше: "Искание всего страшного и загадочного, что до сих пор было гонимо моралью".

Я вспоминаю не историю написания книги, а историю нашей работы. Спорить

человечивания. Не просто сопротивление осажденных, а сопротивление интеллигенции как слоя людей нашего общества, может быть, наиболее стойких и сильных в критических условиях. Выживали люди, наделенные интеллектом, моралью, — они держались дольше, они были сильнее.

Спасались те, кто спасал других. Помогало искусство, культура. В блокаду писали стихи, вели дневники...

Одно за другим нас настигали открытия. Я вспоминаю о них потому только, что открытия эти вошли в последующую жизнь Адамовича неопровержимыми аргументами, он пользовался нравственным опытом блокады в своих выступлениях, в публицистике.

Иногда мы уезжали с ним для работы в дома творчества, один раз поехали в

коленным лицемерием (какой артист пропадает!) изъяснялся при этом в любви к своим белорусским землякам.

Воевать с начальниками из ЦК, а затем из Комитета по печати было начеку, но Алесь, как и позже, не мог совладать со своим гражданским темпераментом. Его то и дело бросало в бой.

В конце горбачевской перестройки, когда надежды свикли, Алесь признался мне, что единственную возможность, которую он видит для себя, это возглавить радио и телевидение, решающий рычаг политического влияния. Если по Архимеду, то это точка опоры, опираясь на которую он брался перевернуть сознание общества.

Я считал его желание законным — уверен, что, если б ему дали эту должность,

В связи с Сахаровым вспоминался мне московский международный форум "За безъядерный мир, за выживание человечества". Февраль 1987 года, Андрей Дмитриевич только что вернулся из горьковской ссылки и присутствовал на конгрессе; если не ошибаюсь, то был первый его выход в свет. К нему обращались иностранные корреспонденты, заграничные гости, но, когда они отходили, Сахаров оказывался один и становился видной зоной страха, окружавшая его. Наши боялись к нему подходить. Я замечал, как академики, ученые отводили глаза, старались не встречаться с ним глазами. Тягостное и достаточно наглядное зрелище нравов нашей научной среды. Подчиняясь исключительно чувству стыда, я подошел к Андрею Дмитриевичу, заговорил с ним. Мы были незнакомы, не могу утверждать, что он обрадовался, но все же разговор был хороший. Краем глаза я заметил, как нас стали снимать репортеры и те, кто мог попасть в кадр, быстро расходились. Остался один Адамович, я подошел его, признаком с Сахаровым. Алесь был в восторге. Нян на мгновение его не смутили вспышки фотоблицев, он даже гордился тем, что стоит рядом с Андреем Дмитриевичем. В нем, в Адамовиче, совпадало мужество военное и гражданское, два совершенно разных мужества.

Как-то мы с Ю.Карякиным прехали навестить Алесь в больницу после заседания Президентского совета у Ельцина. Расспросив нас о том, что там было, он принялся отчитывать нас за робость, за примиренчество. Наш радикализм ему был недостаточен. Никого другого мы не стали бы слушать, Алесь же имел право не только потому, что его доводы были разумны, но и потому, что его личная твердость и безоглядная настойчивость в подобных ситуациях не раз приносили успех.

Я не раз думал, был ли прав Алесь, столько сил, нервов, времени отдавая политической жизни. В его судьбе отразилось характерное противоречие нашего поколения. У него — наиболее остро, драматически. И одна из первых его вещей "Хатынская повесть", и последняя его вещь "Vixi" ("Прожито") убеждают в наличии того отдельного, свойственного только ему, Адамовичу, голоса, этого важнейшего писательского качества. Он был непохож на всех других писателей, и разрабатывая он свой талант не отвлекаясь, настойчиво, неустанно, голос его звучал бы куда громче. Последние годы он рвался из политики в литературу, уходил и возвращался, изгоняя из себя "страсти по Ельцину", "страсти по межрегионалке" и т.п. Изгонял, а они снова настигали его. Повесть "Vixi" принесла ему удовлетворение. Безошибочным авторским чутьем он знал о своей удаче. Выспши суд высказательного художника требовал отдать всего себя писательскому призванию. Возможности его таланта были далеко не реализованы. А политическая борьба все не отпускала — пресловутые понятия долга, требования единомышленников, соратников, очевидность происходящих несправедливостей, наглосе присвоение общеписательского имущества...

Драма Адамовича (которая обернулась трагедией) характерна для целого поколения художников, захваченных мечтой о строе социальной справедливости, тех, у кого душа изболевала от гнусностей коммунистического прошлого.

И здесь не скажешь: вот, мол, как неправильно он распорядился своей жизнью. Его гражданская, политическая задача была примером нравственного бескорыстия, и он погиб в этом служении людям и идеям добра. Он был из тех немногих, кто защитил честь писательского звания, как по-другому это делал Владимир Короленко, Александр Солженицын.

Все так, все правильно, и все же, когда я перебираю книги Алесь, мне грустно — их мало, слишком мало, а все остальное — его выступления, его защита демократии в августовские дни девятнадцатого года у Белого дома, его депутатство, — все зарастает, улетучивается, смутно тлеет на задворках памяти. Я говорю себе, что это не так, но горечь не покидает меня.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

## ...Он не вернулся из боя

Даниил ГРАНИН



На снимке: А. АДАМОВИЧ и Д. ГРАНИН в Ленинграде в дни работы над "Блокадной книгой"

меня, — мы понимали, что если делать эту книгу, то делать надо не откладывая, память уходит и люди уходят.

Поражала смелость, с которой он взялся за совершенно незнакомый ему материал, он не знал города, не знал блокады, не знал людей, он был совершенный новичок в питерской жизни. Его это не смущало. Наоборот, он даже обращал наивность в свое преимущество: да, он приезжий, но хочет рассказать про блокаду, понять ее свежим чувством постороннего человека.

Его незнание часто оборачивалось смешными промахами, ему помогал его необидчивый, благодушный (в то время) характер. Он поселился в Ленинграде, снял комнату, мы купили ему магнитофон и разделились, желая скорее охватить больше людей. По вечерам сходились у меня дома, обсуждали трофеи. Сбор длился месяц за месяцем, мы не могли остановиться. Рассказы блокадников не повторялись — каждый имел свое, особенное. Однажды Алесь заболел, слег. Я носил ему книги. Просил он не развлекательную литературу, а философию. Шестова, Ницше. И потом, когда он выздоровел, он обшарил всю мою библиотеку, выискивая прежде всего запретное — Бердяева, Шопенгауэра, Розанова, — 1977 год!

Время от времени он уезжал в Минск, возвращался, и мы вновь пукались в путь из квартиры в квартиру. Мы установили с ним, что из десяти рассказов в среднем бывают три хороших, а один очень хороший, а то и гениальный. Я помню, как он был счастлив, как хвастался, записав рассказ Марии Ивановны, который вошел в книгу отдельной главой: "Эта бессмертная, эта вечная Мария Ивановна!".

Работать с ним было легко. Мы не разделяли "мое" и "твое", как-то естест-

с Алесем было весело. Мы сходились, расходились, никогда не ссорясь.

Его белорусский акцент располагал к себе людей, кроме того, он умел находить глубинные вопросы, спрашивать о существенном. За год с лишним работы над первой частью Алесь заметно обленградился. Все же Питер оказывал свое влияние, тем более что общались мы с коренными питерцами, с историками, служителями "Эрмитажа", архивистами, инженерами. С той рабочей прослойкой, которая составляет душу города. Мы двигались из семьи в семью, погружаясь в прошедшие года потерь и неразрешимых нравственных проблем. Мы забирались с ним в такие тупики человеческих изысканий и страданий, откуда не было выхода. Истории, которые мы выслушивали, поражали нас немислимой запредельностью переживаний, о них невозможно было писать. Казалось бы, перед правдой жизни нет никаких преград, мы оба считали себя ее бесстрашными рыцарями, чего нам бояться, и друг перед другом не хотелось робеть, и тем не менее мы отступали. Мы поняли, что есть вещи, о которых писатель не должен рассказывать, есть предельность человеческих мук. Нам ее выкладывали, люди старались как бы отделаться от ужасов памяти, но нам написать и тоже отделаться не удавалось. Не мудрено, что эта работа измучила нас так, что мы оба болели, нервная нагрузка становилась опасной.

Каждый писал свою главу, потом мы менялись рукописями, читали чужой вариант, доказывали, что он никуда не годится, переписывали по-своему.

Постепенно мы подходили к мысли, что духовность была одной из главных особенностей ленинградской эпопеи, не патриотизм, а скорее стойкость интеллекта, протест перед унижением голода, рас-

Карловы Вары. По тогдашним моим нравам Алесь был плох тем, что не пил водки. Посторонние этого почти не замечали. Он не отказывался, наливал себе стопку, произносил тосты, чокался, высмеивал малописьющих, но сам не употреблял ни капли. Некоторые считали его хорошим собутыльником.

Он сидел на диете, ограничивая себя во всем, кроме отзывчивости происходящему вокруг. Его писательское дарование состояло в умении распознать у людей бессловесные движения души. Каждого человека он взвешивал на весах подлинности и показывал мне, кто легкий, кто тяжел, а не горяч, от него не укрывалось лицедейство, фальшь пышных заявлений, личности, которые носят наши знакомые. Он открывал глаза мне, да и многим на деятелей горбачевского, а затем и ельцинского времени. Вот бородачатый литературовед, который до Горбачева перешел из диссидентствующих к русофилам, поскольку там посулили ему издания и хлебное местечко, пожировал у них, затем подался обратно в демократы — кочевник, пасется у кого больше дадут. Другой политик делает себе карьеру горлом, бесстрашно разоблачая, обвиняя павший режим... Но эти расправы шли попутно: по мере того как разворачивалась перестройка, нарастала и борьба с ярыми сталинистами-коммунистами. Можно вспомнить, сколько сил потратил Алесь, защищая Василия Быкова от клеветнических измышлений некоего Северука, цэковского деятеля брежневских времен. Впрочем, почему брежневских — этот непопулярный Северук при всех режимах оставался верен своей ненависти к писателям типа Быкова и Адамовича, которых не удалось приручить. Будучи у власти, он все делал, чтобы запретить издания их книг. С вели-

*Год назад умер Алесь Адамович. Его драма характерна для целого поколения художников, захваченных мечтой о строе социальной справедливости, тех, у кого душа изболевала от гнусностей коммунистического прошлого.*